

FEEDBACK

Алексей Романов

Кто такой интеллигент?

Или о чем не сказал Виталий Куренной
на Чтениях гуманитарного семинара в Риге

И не только Виталий Куренной. Об этом же не сказали и авторы статей сборника «История и теория интеллигенции и интеллектуалов» под редакцией Виталия Куренного, Москва, 2009. Говоря «авторы» мы имеем в виду именно трех из них, темой своих статей сделавших исследование феномена русской интеллигенции. На этих авторов по ходу наших заметок мы и будем ссылаться.

Поиск сущности русской интеллигенции через ее социальное проявление кажется методологически неперспективным. Потому что анализ социальной ангажированности при изучении природы социальных явлений едва ли может привести к успеху, явление начинает дробиться, множиться и ускользать. Что мы и видим при попытках авторов из множества определений (в том числе и самоопределений) интеллигенции остановиться на чем-то существенном.

Все три автора прибегают к сравнению российской интеллигенции с интеллектуалами Западной Европы. Результаты такой аналогии (как и любой аналогии), разумеется, одновременно говорят как о схожести черт, так и об их противопоставлении. Скажем, если предположить, что в Европе из-за равномерных социальных изменений интеллигенции не появилось (3. С.74), у другого автора выходит, что русская интеллигенция и европейские интеллектуалы по своей социальной роли в XX веке настолько похожи, что иногда, в случае России и Ирландии, оказываются даже явлениями тождественными (2.С.70). Конечно, автор не уточняет, в чем же эта тождественность, ибо именно крайняя неопределенность этой социальной роли и не дает увидеть сущность искомого явления (2. passim). Для примера, отличие европейских профессионально специализированных интеллектуалов от интеллигенции, даже если допустить превращение последней в таких же разобщенных специализированных интеллектуалов (2. С.70, ср. 3. С.94), все-таки состоит в том, что интеллигенция по происхождению (то есть по сути) не связана ни с образованием (1. С.37, ср. 2. passim), ни, соответственно, с требующей специального образования профессией.

Остается совершенно неопределенным и отношение интеллигенции к власти, вероятно, столь важное для социологии. «Властители дум» не только оказываются как консерваторами, так и левыми, но еще имеют склонность переходить из одного лагеря в другой (1. С.31-32-33). То, что дело тут не в исторической перспективе, видно из такой же неопределенности отношений интеллигенции к власти и сегодня (3. С.79, 94). Социальная занятость, получается, никак не определяет сущности такого явления российской культуры, как интеллигенция, зато вносит дополнительную сумятицу. Полемика

1909 года о сущности интеллигенции в «Вехах» тоже ориентируется на социальную позицию, левых и консерваторов, и по этой причине кому-то в принадлежности интеллигенции отказывает, а кого-то к ней причисляет (1. С.31-33). К этой же социальной ангажированности (или самоангажированности) следует отнести оппозицию интеллигенция-народ, которая еще осложняется выяснением отношений славянофилов и западников, в свою очередь коренящихся в рассуждениях о национальной идее и некоей русской миссии. Существование и в наше время подобного жанра публицистики говорит, конечно, не об «исторически-объективной», то есть преходящей, причине существования интеллигенции нынешней. Однако выводов в другую от социологии сторону никто из авторов, как и следует ожидать, не делает.

Из всех этих противоречивых сведений единая картина никак не складывается, и все рассуждения исследователей оказываются как-то не совсем применимыми к такому явлению, как русская интеллигенция (то есть в то же время применимы не только к ней). Согласимся, ситуация неприятная. Но выход все же есть.

Поскольку удержать в социально-функциональных границах интеллигенцию никак не удастся, авторы приходят к единодушному выводу, что никакой такой особой «русской интеллигенции» попросту нет, а вся ее якобы уникальность есть только придуманный ею же самую миф, а если по сути, то ничем от западных интеллектуалов она не отличается, а если все же отличается, то только временно-исторически и все идет к тому, чтобы она в этих интеллектуалов в конце концов закономерно бы и превратилась. Однако и тут нужны аргументы. И вот мы узнаем, что русская философская публицистика и литература натуральной школы, в XIX веке оказавшись в роли некоего духовного учительства (1. С.29), в точности подобны философской публицистике и литературе французской перед Великой Революцией (1. С.31), обладавшими сходными чертами — то есть представляли собой свободную от сословий профессиональную литературно-публицистическую деятельность и считали своей миссией пропаганду идей просветительства и социального переустройства (1. С.29-33, 51-52). Вот именно на такое сопоставление и соответствующий из него вывод мы попробуем возразить по существу. То, чего не сделали исследователи, попробуем сделать мы, то есть обратиться к содержательной стороне занятий представителей российской интеллигенции, формирующих общественное мнение свободных философов, публицистов и литераторов.

Очевидно при этом, что в серьезном знании историографического и социально-фактологического материала авторов сомнений нет и тягаться с ними в этом дилетанту не приходится. Потому мы ограничимся скорее методологическими предположениями, явно не принятыми во внимание нашими исследователями, и предложим свои соображения в защиту не преходящей историчности (историчность можно понимать куда более интересное, скажем, герменевтически, но так уж она понимается у наших авторов), а, скажем, мета-социальной природы интеллигенции. Вот наши аргументы. Именно и только в России в середине XIX века появляются враз: русская философия, русская классическая литература и разночинное четвертое сословие.

Мы не станем здесь разбирать уникальность возникновения «русской философии», но по ходу отметим, что коль скоро историко-социальные обстоятельства становятся философской проблематикой, они уже перестают быть только историко-социальными обстоятельствами. В равной степени это относится и к возникновению русской классической литературы. То, что русская философия плоха, нас здесь не интересует, а вот почему плоха для нас существенно. Отнюдь не из-за поверхностного заимствования у тогдашних западноевропейских законодателей философских и общественных идей. Плоха из-за непродуманности ходов мышления, из-за «злобы дня» своего предмета, за которым по-журналистски следует, впадая в морализаторство, утопизм и мессианство. Но именно этим, «злой» и непродуманностью, хороша литература, добавим — классическая русская литература, она же и мировая в отличие от философии. Как раз в случае литературы действенным кажется приводимое выше объяснение, что на Западе нет интеллигенции из-за равномерных социальных изменений (З. С.74), так же точно, если не более явно, это верно и для русской литературы, не имеющей в своих предшественниках ни Шиллера, ни Гете, ни Шекспира, ни Вольтера или Дидро. И литература в таком отсутствии великих предшественников тут не одинока, то же и с русской живописью, то же и с русской музыкой. Итак, что же литература? Если мы отделим литературу и философию от жанра публицистики, по определению нацеленного на общественное мнение и потому содержательно поверхностного и недолговечного, у нас останется одна литература. Теперь дело за ней. Остановимся только на одной особенности литературной проблематики.

Выходцы из духовного сословия были главным источником пополнения студенчества и наиболее многочисленными представителями разночиния (ссылки на эти сведения читатель легко найдет), что при католическом celibate и в протестантизме ничего близкого в Западной Европе не было. Возможно, в том числе и этим обстоятельством объясняется такая существенная черта русской интеллигенции, как богоискательство и богостроительство. Едва ли стоит отрицать, что хоть и косвенной, но ближайшей причиной такого ее свойства послужило именно особое положение духовенства России и семинаристское пополнение четвертого сословия, соответственно и аналогов такой особенности русской интеллигенции нет, и особенность эта не «историческая», а именно существенная, поскольку в существенном отношении именно благодаря ей возникла своеобразная проблематика как плохой или публицистичес-

кой философии, так и по-настоящему философствующей литературы — уж пусть меня поправят, аналогов для последней придумать не могу, кроме разве Ницше, недаром столь популярного в России в интересующее нас время.

И позволим себе сделать на этом месте предположение, что только в русской классической литературе литературные образы и сюжеты становятся формой мышления вполне самостоятельного и не литературного, потому как отсутствие философской традиции в прошлом и плохая философия теперь тому одно из оснований. Предвидя возможные возражения, было бы интересно проверить, насколько отношение западных интеллектуалов к своей литературе отличается от отношения к своей у русской интеллигенции.

То, что должна делать философия — побуждать мыслить самому и в одиночку, а не становиться на позицию той или иной партии для проповеди какой-нибудь миссии, — делает литература. И делает по сию пору и будет делать впредь. Входящий в ее проблематическое поле вынужден думать подобно тем самым «историческим» интеллигентам, а уж поступать и жить согласно собственному продумыванию этой своей «литературной» озадаченности. Продуманность же иначе как философской не бывает, поскольку состоит в способности рассуждать, углубляясь в основания своих рассуждений, кому сколько отпущено, ибо только таким образом можно приблизиться к пониманию природы как социального устройства, так и своей собственной. А без таких размышлений для чего читать Достоевского, Толстого, Чехова? Едва ли для развлечения, а чтобы что-то для себя понять, потому что такое чтение невозможно без самостоятельного мышления, а из русской классики, как из греческой или христианской мифологии, растет свой логос и вызревает собственное отношение к «общественным идеям».

Социологи знают много, но за деревьями как-будто не видят леса. С социологической точки зрения все меняется, исчезают прежние социальные роли и появляются новые и русская интеллигенция из-за своей социологической неопределимости объявляется то ли просто мифом, то ли исторически преходящим явлением, сущность которого даже и в историческом отношении выяснить так и не удается. А разве можно в таком гераклитовском потоке говорить о сущности чего бы то ни было? Скажем, о сущности русской классической литературы... К слову пришлось, отметим еще стиль подобного рода исследований, далеких от чувства хорошего русского языка и начиненных такими модными и пустыми словечками как «проект», «стратегии», «статусный», «вызовы», «практики», «элиты», «виртуальный» и наконец — «дискурс». А как вам такой перл — «применение более эгалитарных правил для выбора лучших» (З. С. 73)? — найдите-ка три (!) стилистические нелепицы. Может, у социологов ученый язык такой, который только непосвященным кажется наукообразной пошлостью, но зададим парадоксальный вопрос — способен ли вообще автор, сколь угодно интеллектуальный, но лишенный одного из несомненных признаков интеллигентности, на исследование самого феномена интеллигенции? У одного из учеников Хулио Хуренито в поисках «человека как такового» надежды на успех было больше потому хотя бы, что тот постоянно перечитывал Достоевского. Разве можно перечитывать Достоевского и при этом говорить на каком-то волапоке? Не верю.